

ТБВЛИС ЕКА

18.538

К 19

альд Шпенглер

Пессимизм ли это?



Москва 1922



Освальд Шпенглер

Հովան արքայոս

~~1. III-83 п.~~

Пессимизм ли это?

~~84/28~~
~~9630~~
R $\frac{18538}{1a}$

г. 2015-4550

Перевод
и предисловие
Павла Попова



Москва 1922



I (430) գրեթե անհայտ

Р. Ц. № 773

Тираж 1000 экз

Школа Худож.-Печатн. Дела, Москва, Арбат.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Предлагаемая вниманию читателей книжка Шпенглера *Pessimismus?* представляет собою ответ автора своим критикам по поводу основного труда этого мыслителя. *Der Untergang des Abendlandes*, „Закат Европы“ произвел очень сильное впечатление на читающую публику в Западной Европе и явился одним из самых популярных произведений за годы после войны. Количество критических статей, написанных о труде Шпенглера, громадно; о нем высказались специалисты самых разнообразных областей. В предлагаемой ныне читателям брошюре Шпенглер, не называя имен, отвечает в главном своим возражателям. Этот ответ чрезвычайно характерен; Шпенглер не столько аргументирует отдельные свои положения или защищает те или иные характеристики отдельных эпох, культур, исторических событий и т. п., сколько стремится вскрыть основной пафос своей точки зрения; он

стремится противопоставить противникам коренной стимул своего произведения. При таком замысле книжки *лик* Шпенглера все больше и больше *проясняется*, и он начинает выступать, так сказать, во весь свой рост. Шпенглер — фигура, бывшая раньше совсем неизвестной, теперь образ его все яснее и яснее проступает, и проступает с весьма поучительной стороны.

В виду громоздкости основного труда Шпенглера, „Закат Европы“ до сих пор не увидел света на русском языке. Большинство русской публики судит о взглядах Шпенглера по изложению четырех авторов, составивших сборник „Освальд Шпенглер и Закат Европы“. (Книгоиздательство „Берег“. Москва, 1922 г.). Предлагаемая брошюра Шпенглера может представить весьма существенное дополнение к этому труду, равно как и к самому *Untergang des Abendlandes*. Шпенглер сам указывает в „Пессимизме“ на обнаружение тайных предпосылок, которые, как говорит автор о себе, бессознательно лежат в основании его мышления. Это интимное освещение нужно тщательно принять во внимание для того, чтобы судить в целом о философии истории Шпенглера.

Дело в том, что в Шпенглере очень пленяет его проникновенный интуитивный дар; невольно его романтизм выделяется на первый план, и сам Шпенглер начинает казаться представителем эстетического и даже идеалистического романтизма, писателем проникновенного духовного видения.

Этот романтический налет невольно ложится на Шпенглера и после чтения книжки о нем четырех русских авторов: Степуна, Франка, Бердяева и Букшпана. Еще более составлялось такое впечатление об авторе „Заката Европы“ после высокохудожественных чтений Ф. Степуна о нем. А в этих чтениях московская публика впервые ознакомилась с немецким мыслителем. Сборник четырех авторов очень интересен, но это не столько изложение или даже интерпретация Шпенглера, сколько размышления над ним. Ведь вообще, когда читаешь статьи Бердяева или Франка, то интересуешься, в первую голову, их собственными мыслями и взглядами,—они не могут быть простыми излагателями, их мышление слишком оригинально и мирозерцание слишком определено. Невольно и облик воспроизводимых ими мыслей приобретает другой оттенок, и Шпенглер начинает представляться в другом свете. Как-раз в „Пессимизме“ Шпенглер, так сказать, обнажается, скидывает с себя всяческие романтические одежды, оказывается, пожалуй, гораздо менее значительным, более элементарным, вовсе не экстраординарным. Вдруг проступает совсем будничная атмосфера тесной группы небольшой национальности в определенных политических и социальных условиях. Шпенглер обнаруживается, как представитель такой замкнутой и ограниченной идеологии.

Ф. А. Степун утверждает, что облик Шпенглера складывается из комбинаций трех образов—роман-

тика, мистика и человека современной цивилизации. Из чтения „Пессимизма“ становится совершенно ясным, что на первое место в фигуре Шпенглера выступает образ именно человека современной цивилизации и этот элемент современности и даже определенных черт немца—в конечном счете играет преваляющую роль. И если Ф. А. Степун добавляет, что всякий портрет должен быть похож не только на свой оригинал, но и на подписавшегося под ним автора, то тут и вспоминается положение того же Шпенглера, что в чужой дух нам проникнуть трудно, и подчас вместо портрета получается автопортрет, а оригинал остается в тени. Вряд ли поэтому передачу излагателя можно считать объективной (срв. 27 стр. сборника). С. Л. Франк говорит о горячем, благородном и тоскующем эстетизме Шпенглера (стр. 46), но у этой черты есть своя изнанка, которая весьма рельефно проступает в злом и напряженном тоне „Пессимизма“, опрокидывающем весь этот эстетизм. Обнаруживается, что иногда Шпенглера больше всего задевают успехи Англии и то обстоятельство, что в конце-концов Парижу не оказывается достаточного сопротивления. Франк находит страницы у Шпенглера, которые проникнуты ненавистью к омертвлению и разложению духовной культуры Европы в лице ее современной мещанской цивилизации (стр. 49). Это так, но, вместе с тем, хочется отметить и следующее обстоятельство. Есть еще третья книга Шпенглера „Пруссия и социализм“. В предисловии неуместно касать-

ся ее конкретного содержания, но вот какой подзаголовок дается этому трактату на обложке книг Шпенглера при перечислении его трудов. Привожу дословный перевод. „Если мнение французов об этом произведении таково: *„Пруссия потеряла свои пушки, теперь она занимается подготовкой своих идей“*. (Renaissance pol., lit. et art.). *„Каждый француз, каждый англичанин должен был бы прочитать и обдумать это произведение“* (L'Alsace française I, 6), тогда каждый немец должен вбить в себя мысли этого труда, потому что к нему они относятся в первую голову“. После таких слов вряд ли можно сказать вслед за Н. А. Бердяевым, что Шпенглеру абсолютно чужда известная притупленность сознания, столь необходимая для практического дела мещанской цивилизации. Шпенглер не только *делает вид*, что принимает на себя пафос практического дела, политики, инженерного искусства, сооружения мирового города и т. п. (стр. 64, 67), подчас он действительно захлебывается в этом порыве, и после прочтения „Пессимизма“ это трудно оспаривать. Из всего сборника четырех авторов последняя статья „Непреодоленный рационализм“ всего ближе подходит к этой изнанке мироощущения Шпенглера. Нельзя сказать, чтобы не было яркой романтической струи в мышлении Шпенглера, но во всяком случае этот тон как-то трагически смешивается с прямо противоположным уклоном.

Этим вовсе не разумеется того, что фигура

Шпенглера, как мыслителя, в конечном счете оказывается незначительной. Его талантливой и подчас гениальной прозорливости нужно несомненно отдать должное. Его мощь особенно сказывается в критике; тут он вносит всегда очень свежую струю и обычно—весьма новые мысли; он не поработен никакими традиционными схемами, ко всему он подходит с действительно свободной непредвзятостью и умеет нащупать все произвольные и слабые места, например, концепции всемирной истории, теории прогресса, односторонности горизонтов европейского кругозора и т. п. Все трафареты мысли блекнут пред его непредубежденным оком. Но когда он от критики переходит к собственному положительному построению, то его умозрительный кругозор значительно суживается, и глубины духовного постижения в нем не обнаруживается. Тут он оказывается нашим современником со всеми его недостатками, со всем его ущербным сознанием. Он относится с большой и проникновенной любовью, действительной интуицией к эпохам истинной культуры, но, как человек цивилизации, он начинает чувствовать отвращение к такой эпохе, потому что она ушла. А Шпенглер все же человек дела. Его очень часто критика определяет, как *скептика и релятивиста*. Но не следует упускать из вида и еще одной яркой черты. Он великий *прагматист* в самом непосредственном смысле слова. Есть прагматизм, который совмещается с широким духовным кругозором (как, напр., у Джемса), но

прагматизм Шпенглера весьма элементарный и весьма утилитарный. Формула, которая подробно развивается в „Пессимизме“ такова: *для жизни не существует истин, существуют только факты* (Tatsachen). Истина ничего не дает, а практический смысл, жизненное значение должны всегда стоять на первом плане.

Трудно более четко сформулировать основной стимул прагматизма, как практицизма. Отсюда ряд глубоких недоразумений в оценке целого ряда обстоятельств у Шпенглера. Шпенглер на каждом шагу негодует и высмеивает „так называемые высокие идеалы“, „пустые истины“, „ни для кого ненужные обобщения“ и т. п. И что же? Шпенглер, например, очень высоко ценит Гегеля, подчеркивая его мощь в противоположность нынешним „научным“ мыслителям ущербного гносеологического направления. В чем же оказывается сила Гегеля? В том, что он исходил *из политической действительности*. Стоит ли указывать, что при таком подходе нельзя вскрыть ничего содержательного и глубокого у Гегеля? И такой же критерий применяется к оценке Гёте, Лейбница и других мыслителей, которых Шпенглер так высоко ставит. Это прямо удивительно, как иногда у Шпенглера сочетаются поражающие прозрения с большими банальностями! Как-будто он вскрывает самые жгучие и острые вопросы духовного мироощущения, но при этом всегда остается осадок, что все это делается как-то навыворот. Постоянно ощущается привкус чего-

то постороннего, фальшивого и, в сущности, недодуманного. Это идеализм наизнанку. Идеалист оказывается слишком похожим на самонадеянного немца.

И Шпенглер, конечно, далеко не всегда искренен. Из каких-то узких соображений он, повидимому, не может признать того, что бросается сразу в глаза. Его характеристика творчества культуры, как динамичности, как направленности, как длительности в противоположность стихии цивилизации, где господствует мертвое пространство с его рядоположностью и механической статичностью,—все это сразу говорит о сфере бергсоновской мысли. И все же Шпенглер находит возможным отрицать эту связь своим мимолетным полупрезрительным упоминанием имени Бергсона (*Der Untergang des Abendlandes*, 1920 г., S. 517; сравни особенно близкое стихии бергсоновства начало V главы „О форме души“ (*Zur Form der Seele*)).

В заключение своих вводных слов я считаю целесообразным сделать следующее. Можно предположить, что эту книжку возьмет читатель, знакомый с идеями Шпенглера. Чтобы такой читатель не оказался в беспомощном положении, я предоставляю ему возможность текстуально ознакомиться с основными мыслями Шпенглера из его „Заката“—именно, далее приводятся полторы страницы из этого произведения, представляющие очень сжатую и выразительную характеристику основ его взгляда на философию истории. Это, так сказать, квинт-эссенция его мироощущения.

„Человечество“ не имеет цели, ни идеи, ни плана подобно тому, как порода бабочек или орхидей не имеет отношения к цели. „Человечество“ — пустое слово. Пусть выбросят этот фантом из круга исторических проблем форм, и тогда увидят обнаруживающимся изумительное богатство *действительных* форм. Тут неизмеримая полнота, глубина и подвижность живого; все, что до сих пор покрывалось фразой, тощей схемой, личными „идеалами“. Я вижу явление множества мощных культур вместо монотонной картины прямолинейной всеобщей истории, которая в действительности получается, когда закрывают глаза на подавляющее число фактов; эти мощные культуры с домировой силой расцветают из лона материнского ландшафта, с которым они тесно связаны во всем течении их существования; каждая из этих культур вычеканивает на своем материале свою собственную форму, а каждая форма обладает своей *собственной* идеей, своими страстями, своей *собственной* жизнью, волей, чувствованием, своей *собственной* смертью. Тут обнаруживаются краски, цвета, движения, которых не открывало ни одно духовное око. Существуют расцветающие и стареющие культуры, народы, языки, истины, божества, ландшафты, как существуют молодые и старые дубы, пинии, цветы, сучья, листья, но не существует стареющего человечества. Каждая культура имеет свои собственные возможности выражения, которые появляются, зреют, отцветают и никогда

не возвращаются. Существуют многие, в глубочайшей сущности совершенно отличные пластики, живописи, математики, физики; каждая из них в своей жизни ограничена временем, каждая из них замкнута в себе, как любая растительная порода обладает своими собственными цветами и плодами, своим собственным типом роста и нисхождения. Эти культуры, жизненные натуры высшего ранга, расцветают в форме возвышенной бесцельности, как цветы на поле. Они принадлежат, как растения и животные, живой природе Гёте, не мертвой природе Ньютона. Я вижу во всемирной истории картину вечного созидания и преобразования, удивительного становления и исчезновения органических форм. Но цеховой историк видит мировую историю в форме солитера, который неустанно „рядополагает“ эпохи“. (Untergang, S. 28-29).

Павел Попов.

9 апреля 1922 года.

Мою книгу до сих пор почти никто не понял; такое непонимание неизбежно для всякого мирозерцания, которое захватывает духовный строй известной эпохи не только по своим результатам, но уже по своему методу и прежде всего совершенно новым взглядам на вещи, а, ведь, из такого взгляда метод прямо вытекает. Недоразумения будут расти, если такая книга, по стечению обстоятельств становится модной и, соответственно этому, люди внезапно видят себя пред лицом учения, доступного им пока только с отрицательной стороны; мышление таких читателей можно было бы подготовить к пониманию этой книги лишь годами и посредством другой литературы, сюда относящейся. При этом чаще всего упускалось из виду, что первый том составляет лишь фрагмент, по которому нельзя точно судить об остальном, как мне вскоре выяснилось. Предстоящее издание второго тома окончательно завершит „Морфологию всемирной истории“ и, тем самым, по крайней мере

один круг вопросов. Другой круг вопросов — этический, как заметят внимательные читатели, слегка затронут в „Пруссии и социализме“. Наконец, понимание затруднялось смущающим заглавием книги, хотя я выразительно подчеркнул, что оно давно стало неоспоримым и есть вполне реальное обозначение исторического факта; подтверждением этого факта служат аналогичные обстоятельства в известнейших исторических явлениях. Но находятся люди, которые смешивают падение античного мира с гибелью океанского парохода. В слове падение *не содержится* смысла катастрофы. Если вместо падения скажут завершение — выражение, с которым связан вполне определенный смысл в мышлении Гёте, — то на время пессимистическая сторона устраняется без изменения собственного смысла понятия.

Далее, — уже в первый своей части, произведение всецело обращалось к людям практики, а не людям критики. Собственно, целью моей работы был образ мира, в котором можно жить, а не система мира, которую можно умозрительно анализировать. Это я не сразу осознал; этим, разумеется, выключается целый круг читателей, которым недоступно понимание моей книги.

Деятельный человек живет в вещах и с вещами. Ему не нужно доказательств, он их часто даже не понимает. *Физиономический такт* — одно из слов, смысла которого, собственно, никто не понял, вводит такого человека гораздо глубже в суть ве-

1 а 46-56

щей, нежели это мог бы сделать любой метод, построенный на доказательствах. Люди, призванные к деятельности, давным-давно в тишине чувствовали то, что я здесь сказал и что ученым головам показалось совершенно парадоксальным; часто такие люди этого даже не осознавали. При чтении, то-есть в теоретическом понимании, эти люди не нуждаются в том „историческом релятивизме“, который им совершенно ясен в деятельности и в сопровождающем работу наблюдении людей и обстоятельств. А созерцатель внутренне далек от жизни. Он наблюдает жизнь с известной враждебностью к тому, что ему чуждо и ему сопротивляется, так как эта враждебная стихия ему мешает, когда она стремится быть больше, нежели простым наблюдаемым объектом. Созерцатели собирают, разлагают и приводят в порядок не для практической цели, но потому, что это занятие их удовлетворяет; они требуют доказательств и знают в этом толк. Для них подобная моей книга всегда будет заблуждением. Ибо я признаюсь, что „философию для нее самой“ я всегда глубоко презирал. Для меня нет ничего более скучного, нежели чистая логика, научная психология, общая этика и эстетика. Жизнь не имеет ничего обобщающего, ничего научного. Мне кажется излишней каждая строчка, которая написана не для того, чтобы служить деятельной жизни. Не нужно только понимать этого слишком дословно, но эта моя манера наблюдать жизнь противоположна систематической, как ме-

муары государственного мужа—идеальному государственному строю утописта. Один пишет то, что он жизненно переживает, другой - то, что он сам придумал.

Но существует, и как раз в Германии, категория мироощущения, как бы свойственная государственным людям; это несистематическое знакомство с миром, приобретаемое без особых домогательств, в качестве результата допускает лишь один вид метафизических мемуаров. Следует знать, к какому разряду принадлежит книга, соответственно этому должно судить исключительно о манере видения, а не о достоинстве или крупном имени автора.

Существует могучий поток немецкого стиля мышления от Лейбница через Гёте и Гегеля в будущее. Как все немецкое, этот поток имел судьбу как бы подземного и безвестного течения в продолжение столетий, между тем, как даже у этих мыслителей на поверхности мысли господствовал чужой образ мышления. Лейбниц был великим учителем Гёте, хотя Гёте никогда не осознавал этой связи и всегда взывал к имени совершенно чуждого ему Спинозы, внося чисто - лейбницевскую мысль в свое мирозерцание под влиянием Гердера или благодаря непосредственному сродству душ.

Постоянная связь Лейбница с великими фактами его времени, — вот что характеризует этого мыслителя. Если вычесть из его творений то, что он написал в связи со своими политическими планами,

стремлениями к соединению церковей, своими взглядами на горное дело, организацию науки и математику, то мало что останется. Гёте сходен с ним в том, что он мыслил постоянно из вещей и для вещей, значит исторически, и никогда не был бы в состоянии создать абстрактной системы. Мощный Гегель был последним, чье мышление, исходя из политической действительности, было не совсем еще задушено абстракциями. Потом явился Ницше, диллетант в лучшем смысле, он, стоя безусловно вдали от ставшей окончательно бесплодной университетской философии, подчинился дарвинизму; несмотря на это, широко выходя за пределы английско-дарвинистического века, он установил для нас всех взгляд, которым мы ныне можем доставить победу этому *жизненному и практическому* направлению мышления.

В таком свете я вижу теперь тайные предпосылки, которые бессознательно лежали в основании моей манеры мышления. Здесь нет никаких обобщающих построений. Единично-действительное, со всей своей психологией, не играющее никакой роли у Канта и Шопенгауэра, так же безусловно господствует в исторических работах Лейбница, как и в наблюдениях природы у Гёте и в чтениях Гегеля по всемирной истории. Поэтому, тут фактическое стоит в совсем ином отношении к мысли, нежели у всех систематиков. У систематика оно составляет мертвый материал, из которого извлекаются законы. У меня же это *примеры, которые*

освещают пережитую мысль, а она, собственно, может быть выражена лишь в такой форме. А так как это не научно, то тут необходима необычайная сила восприятия. Обыкновенно читатель, как я заметил, при каждой новой мысли утрачивает впечатление от других, и, благодаря этому, понимание извращается, потому что в таких случаях все связано вместе так, что выделение чего-либо одного равносильно ошибке. Но нужно уметь читать и между строк. О многом имеются лишь намеки, многое, вообще, нельзя выразить в научной форме.

Центром моего построения служит идея судьбы. Потому трудно заставить читателя осознать эту идею, что на пути рационального мышления находится лишь противоположная идея — причинности. Ибо судьба и случай безусловно принадлежат совсем другому миру, нежели познание причины и действия, основания и следствия. Опасность тут в том, чтобы не счесть понятия судьбы лишь за другое обозначение причинного ряда, который действительно здесь содержится, хотя и неприметно. С этим научное мышление никогда не совладеет. Взгляд на прочувствованные и пережитые факты блекнет, как только начинают мыслить аналитически. Судьба — слово, содержание которого надо *чувствовать*. Время, тоска, жизнь — близкие, родственные слова. Пусть никто не думает, что постиг ядро моей мысли, если для него остался закрытым последний смысл этих слов, как я их понимаю. От судьбы путь идет к трудно постижимому переживанию,

которое я обозначаю, как *глубинное переживание*. Оно лежит ближе к мышлению здравого смысла, но, как законченный результат, не по своему происхождению. Здесь сталкиваются две труднейшие проблемы. Что значит слово время? На это нет научного ответа. Что значит слово пространство? Это есть возможная задача теоретического размышления. Но, опять-таки, с временем связывается судьба, с пространством — причинность. Какое же, значит, должно быть отношение между судьбой и причиной? Ответ лежит в глубинном переживании, но он ускользает от всякого рода научного опыта и сообщения. Глубинное переживание есть столь же несомненный, сколь и необъяснимый, факт. Третьим и весьма трудным понятием является понятие *физиономического такта*. Этим обозначается то, чем в действительности обладает каждый человек. Он живет им и безостановочно практически пользуется этим тактом. Даже абстрактный ученый старого стиля обладает им настолько, что вообще он может жить, хотя хорошо известная, беспомощная и смешная фигура такого ученого в обыденной жизни как-раз характеризуется малым развитием этого прирожденного такта, которому нельзя научить. В моей же точке зрения подразумевается очень высокая форма этого такта, — в качестве бессознательного метода инстинктивного рассмотрения мирового процесса; в действительности, этим методом владеют немногие люди. В нем сходятся прирожденный государственный человек и истин-

ный историк, несмотря на всю противоположность практики и теории. Несомненно, что они являются наиболее значительными в истории и действительной жизни. Другой — систематический метод — служит лишь нахождению истин, но *факты значительнее истин*. Весь ход политической, хозяйственной и вообще человеческой истории и течение каждой отдельной жизни покоится на непрерывном применении людьми фактов, которые ведут эту жизнь, — начиная с людей незначительных, которых история ведет, до значительных, которые *создают историю*. В противоположность этому действительному господству физиономического метода для деятельных и даже для наблюдателей в продолжение большей части их бодрствования, систематический метод, который одна лишь философия признала, понижается *почти до всемирно-исторической незначительности*. Отличие моего учения заключается в том, что оно вполне сознательно зиждется на этом методе настоящей жизни. Поэтому оно обладает внутренним порядком, но не системой.

Всего меньше поняли ту мою мысль, которая, может быть не очень удачно, обозначена словом *релятивизм*. Мой релятивизм не имеет ничего общего с релятивизмом в физике, который покоится просто на математической противоположности постоянной величины и функции. Пройдут годы, пока освоятся с тем релятивизмом, о котором я говорю, так что действительно начнут с ним жить. Ибо речь идет здесь о *безусловно этическом* взгляде на мир,

в котором отображается отдельная жизнь. Никто не поймет этого слова, если от него ускользнула идея судьбы. Релятивизм в истории, как я его понимаю, есть *признание идеи судьбы*. Единственное, неповторимое, невозвратное всего совершающегося есть форма, в которой судьба выступает перед человеческим взором.

В действиях и наблюдениях этот релятивизм был всегда известен. Он в действительной жизни настолько ясен и с такою полнотою господствует над картиной каждого дня, что даже не доходит до сознания и поэтому оспаривается обычно с полным убеждением в моменты теоретического, т.-е. обобщающего размышления. И, как таковая, эта мысль не нова. Действительно, новой мысли не существует в такую позднюю эпоху, как наша. Во всем 19 столетии нет ни одного вопроса, которого бы схоластики не раскрыла, не продумала и не облекла бы в блестящую форму в качестве одной из своих проблем. Единственное, что релятивизм был слишком непосредственным фактом жизни, и, поэтому, слишком не философичным; поэтому, во всяком случае, в „системах“ он был недопустим. Старое мужицкое правило: „*всякому — свое*“ составляет приблизительно противоположность всякой цеховой философии: такая цеховая философия как-раз хочет доказать, что одно годится для всех, именно то, что соответствующий автор доказывает в своей этике. Я совершенно сознательно „стал на другую сторону“, сторону жизни, не мышления. Обе наив-

ные точки зрения либо заставляют утверждать, что существует нечто, являющееся вечной нормой, т.-е. независимо от времени и судьбы, либо что ничего такого нет.

То, что здесь называется релятивизмом, не есть ни то, ни другое. Здесь я создал нечто новое: тут доказывется, что всякий наблюдатель, безразлично,—размышляет ли он для жизни, или для мышления,—мыслит лишь как человек своего времени; доказательством этого является тот *факт опыта*, что „всемирная история“ не есть единство становления, но группа до сих пор восьми высоких культур; эти жизненные течения, будучи вполне самостоятельными, лежат пред нами в форме вполне однородного расчленения. Этим устраняется одно из нелепейших возражений, выставленных против моего взгляда, будто релятивизм опровергает самого себя. Ибо выясняется, что для всякой культуры, для каждой ее эпохи и для всякого разряда людей в пределах одной эпохи существует общий взгляд, *для них установленный и обязательный*, и этот взгляд для данного времени есть нечто *абсолютное*. Он не абсолютен только в отношении к другим эпохам. Для нас, современных людей, существует *обязательный* взгляд, но, разумеется, этот взгляд иной, чем взгляд времени Гёте. Тут нельзя применять понятия — истинный и ложный. Тут имеют смысл лишь понятия: глубокий и поверхностный. Кто мыслит иначе, тот ни в каком случае уже не может мыслить исторически. Всякое живое воззре-

ние, в том числе и выставленное мною, принадлежит лишь одной эпохе. Оно развилось из другого воззрения и перейдет в новое. В ходе всей истории так же мало вечно истинных или вечно ложных учений, как в развитии растения нет ни истинных, ни ложных этапов. Все они *необходимы*, и об отдельном этапе можно сказать лишь, что он удался или не удался в отношении к тому, что именно здесь требовалось. Но то же самое можно сказать о любом мировоззрении, как оно обнаруживается в то или иное время. Ведь это чувствует и самый строгий систематик. Он характеризует чужие взгляды, как своевременные, преждевременные, устаревшие, и тем самым соглашается, что понятия „истинный“ и „ложный“ годятся, так-сказать, лишь для авансцены науки, не для ее жизненного значения.

Этим выясняется различие между *фактами и истинами*. Факт есть нечто единичное, что действительно было или будет налицо. Истина есть нечто, что совсем не должно приводиться в исполнение для того, чтобы быть известной возможностью. Судьба имеет отношение к фактам, связь причины и действия есть истина. Это знали с давних пор. А что поэтому жизнь связана *только с фактами*, состоит только из фактов и направлена только на факты — это просмотрели. Истины — величины *мышления*, и их значение коренится в „царстве мысли“. Что находится в философской докторской работе, это — истина. А что с такой философской работой кто-нибудь проваливается, это —

факт. Где начинается действительность, там конец царству мысли. Никто, даже самый далекий от жизни систематик, не может ни одного мгновения не учитывать этого факта. Он этого и не делает, но он забывает это, как только, вместо того, чтобы жить, он начинает размышлять о жизни.

Заслуга, на которую я имею право претендовать, заключается в том, что теперь не будут больше смотреть на будущее, как на неисписанную доску, на которой находится все, что кому вздумается. Безграничное и необдуманное „так это должно быть“ должно уступить место холодному, ясному взгляду, который учитывает возможные и, поэтому, необходимые факты будущего и соответственно этому производит выбор. Время и место рождения человека — вот то, что прежде всего выступает в качестве неизбежной судьбы каждого человека, и этого не может изъяснить никакая мысль и не может изменить никакая воля; каждый рожден в известном народе, в известной религии, сословии, времени, культуре. Этим все решено. Судьба делает то, что человек не родится рабом времени Перикла или рыцарем эпохи Крестовых походов, но родится в рабочем доме или современной вилле. Если есть судьба, предопределение, рок — то именно в этом. История значит то, что жизнь непрестанно меняется. Для отдельного индивидуума дело обстоит так, а не иначе. С его рождением ему даруется его природа и круг возможных задач; внутри этой сферы свободный выбор существует

на законном основании. *Каждому индивидууму* определяется известный круг счастья или горя, величия или трусости, трагического или смешного тем, что его природа может или хочет, что ему его природа разрешает или запрещает; все это *всецело* наполняет его жизнь и, между прочим, определяет, имеет ли это значение в связи с общей жизнью и, следовательно, для какой-нибудь сферы истории или нет. В противоположность этому, самому коренному из всех возможных фактов, всякое философствование об „общей“ задаче „всего“ человечества и о природе этического — пустая болтовня.

Отсюда выясняется безусловно новое в моем взгляде, что, наконец, должно было высказать и заключить *для жизни*, после того, как к этому вел весь 19 век: *сознательное* отношение фаустовского человека к истории. Опять-таки не поняли, зачем я настойчиво заменяю новым образом схему *древний мир — средневековье — новое время*, которая давно стала неудобной даже для среднего ученого: бодрствующий человек всегда живет „под одним впечатлением“, оно господствует над его решениями и формирует его дух, но человек не освобождается от старого до тех пор, пока он не завоевал для себя нового и не усвоил его всецело.

„Исторический взгляд“ — это то, что только с сегодняшнего дня стало доступным для западноевропейского человека; еще Ницше говорил об исторической *болезни*. Он имел в виду то, что он тогда повсюду видел вокруг себя: романтику

литераторов с ее боязнью всякой деятельности, мечтательный уход филологов в некое далекое прошлое, робкую манеру патриотов повсюду оглядываться на предков, прежде чем решиться на что-нибудь; — сравнение от недостатка самостоятельности. Мы — немцы — с 1870 года страдали от этого больше, чем всякий другой народ. Разве мы не обращались повсюду — к древним германцам, рыцарям Крестовых походов, грекам Гельдерлина, когда мы хотели узнать, что делать в век электричества? Англичанин был в этом счастливее: он владел всей массой приспособлений, которые сохранились с норманских времен: своим правом, своими льготами, своими обычаями, и он мог, не разрушая, держать могучую традицию на высоте своего времени. Он не знал и не знает взора, устремленного на тысячелетие разбитых идеалов, полного тоскливого ожидания. Историческая болезнь лежит еще в немецком идеализме и гуманизме наших дней; она заставляет нас молоть всякий вздор о планах реформ и приносит ежедневно все новые проекты, которыми все области жизни основательно и окончательно вводятся в правильную форму; единственный *практический* результат всего этого в том, что в словопрениях истрачиваются главные силы, что реальные обстоятельства не учитываются и что, наконец, Лондон и Париж находят очень незначительное сопротивление.

Исторический *взгляд* представляет собой противоположность этому. Быть знатоком, осмотритель-

ным, точным, холодным знатоком,— вот что он провозглашает. Тысячелетие исторического мышления и исследования развернуло перед нами неизмеримое сокровище не знания—этим мало чего достигнешь,— а *опыта*. Это жизненный опыт в совсем новом смысле, с предположением, что он будет понят с намеченной мною точки зрения. Мы до сих пор всегда — и немцы больше, чем другие национальности — усматривали в прошлом *образцы*, по которым надо жить. Но образцов не существует. Существуют только *примеры*, и именно того, как жизнь отдельных людей, целых народов, целых культур разворачивается, завершается, кончается, как относятся друг к другу характер и внешнее положение, темп и длительность. Мы не видим того, как мы с *своей стороны* должны были бы поступать, но мы видим, как нечто произошло, а это нас учит, каким образом будут проявляться из наших *собственных* предположений — наши *собственные* последствия. До сих пор иной знаток людей сознавал это, но только о своих учениках, подданных, сотоварищах, сознавал это и иной чуткий государственный муж, но только о своей эпохе, о личностях и национальностях своего времени. Это было большим искусством — искусством, позволяющим распоряжаться силами жизни, потому что видна была возможность этих сил и предусматривалось их направление. Таким путем осуществлялось господство над другими. Благодаря этому искусству, люди сами становились судьбой. Теперь мы можем предусмотреть

то же на тысячелетие вперед о всей собственной культуре, как о существе, которое мы насквозь видим. Мы знаем, что каждый факт — случай, не предусмотренный и не подлежащий исчислению, но мы также твердо знаем, обладая образом *других* культур, что развитие и дух будущего *не есть* случай — как у единичного индивидуума, так и в жизни любой культуры ход будущего может быть закончен в блестящем завершении или подвергнут опасности, испорчен, разрушен, но не может быть *отклонен по своему смыслу и направлению*. [Благодаря этому в первый раз становится возможным воспитание в широком смысле, познание внутренне возможного и постановка задач, становится возможным выращивание единичных индивидуумов и целых поколений для задач, которые устанавливаются *взором, бросаемым на будущие факты*, а не из каких-нибудь идеальных „абстракций“. В первый раз мы видим, как факт, что вся литература идеальных „истин“, все эти благородные, благодушные, дурацкие споры, концепции и решения, все эти книги, брошюры и речи — бессмысленное явление; мы видим теперь, что все другие культуры в соответствующее время изучили все это и забыли, а все значение этого материала заключалось в том, чтобы мелкие ученые в каком-нибудь укромном уголке могли потом написать об этом книгу. Поэтому повторим: пусть для простого наблюдателя существуют истины; *для жизни нет истин, — существуют только факты.*

Этим самым я подхожу к вопросу о пессимизме. Когда я в 1911 году, под влиянием Агадира, внезапно открыл свою „философию“, то над европейско-американским миром господствовал пошлый * оптимизм дарвинистического века. Поэтому, из некоторого внутреннего противоречия, заглавию своей книги я бессознательно указал на ту сторону развития, которую никто тогда не хотел видеть. Если бы мне пришлось выбирать теперь, то я бы постарался вскрыть другой формулой столь же поверхностный пессимизм. Я теперь последний, кто верит в право оценивать историю одним лозунгом.

Но, во всяком случае, что касается „цели человечества“, то я являюсь основательным и решительным пессимистом. Человечество для меня лишь зоологическая величина. Я не вижу ни прогресса, ни цели, ни пути человечества, кроме как в головах западно-европейских филистеров-прогрессистов. Я даже не вижу единого духа и еще меньше — единства стремления, чувства и разумения у этой голой массы населения. Только в истории отдельных культур вижу я осмысленное направление жизни на цель, вижу я единство души, воли и переживания. Это есть нечто ограниченное и фактическое, но зато оно содержит то, чего желали, достигли, содержит также снова новые задачи, которые заключаются не в этических фразах и обобщениях, а в осязательных исторических целях.

Кто это называет пессимизмом, тот основывается на банальности своей идеалистической рутин.

История в таком случае является столбовой дорогой, по которой человечество трусит себе вперед, все в одинаковом направлении, с вечными философскими общими местами перед глазами. Философы уже давно твердо установили, правда каждый по-своему, но каждый единственно правильно, какие благородные и абстрактные сочетания слов составляют цель нашего земного существования и его настоящую суть, но характерно то, что, по взглядам оптимистов, мы к этому общему месту только приближаемся, никогда его не достигая. Обозримый конец противоречил бы идеалу. Кто начинает возражать, тот — пессимист.

Мне было бы стыдно жить с такими дешевыми идеалами. Ведь в этом и заключается косность прирожденных трусов и мечтателей, что им нестерпимо глядеть правде прямо в глаза и установить действительную цель немногими беспристрастными словами. Почему-то нужно всегда, чтобы это были великие абстракции, которые сияют издали. Это успокаивает страх тех, которые негодны для дерзаний, предприятий, для всего, что требует энергии, инициативы, превосходства. Я знаю, что на таких людей подобная книга может подействовать уничтожающим образом. Немцы писали мне из Америки, что моя книга действует, как железистая ванна на тех, кто решил быть чем-нибудь в жизни. Но кто рожден для разговоров, стихов и мечтаний, тот впитывает в себя яд из всякой книги. Я знаю этих „молодых людей“, которые

кишат во всех литературных и художественных кружках и во всех высших учебных заведениях; сначала Шопенгауэр, потом Ницше должен был освободить их от обязательства быть энергичным. Теперь они нашли нового избавителя.

Нет, я не пессимист. Не видеть больше никаких задач—вот в чем заключается пессимизм. А я вижу такое количество неразрешенных задач, что начинаю опасаться недостатка времени и людей*). Практическая задача физики и химии несколько еще не приблизилась к границам своих возможностей. Техника во всех областях имеет еще цель перед собой. Весьма ясная задача современного исследования древности состоит в том, чтобы из бесконечных отдельных черт, наконец, составить образ античности, который смог бы устранить из сферы представлений наших образованных людей классицизм с его побуждением к идеалистическому блужданию. Именно в античности можно лучше всего научиться тому, как обстоит дело в действительности и как во все времена романтизм и абстрактные идеалы разбиваются о факты. У нас дело обстояло бы иначе, если бы в наши учебные годы мы больше читали Фукидида, чем изучали стихи Гомера. Но до сих пор ни одному государственному человеку не приходило в голову написать для юношества комментарий к Фукидиду, Полибию, Саллюстию или

*) Ряд таких задач выдвинет второй том.

Тациту. У нас нет ни истории античного хозяйства, ни истории античной политики. Несмотря на удивительные параллели к истории Западной Европы, у нас нет политической истории Китая до царя Хоанг-ти. Мы стоим еще только у истоков действительного понимания права, которое определяется социальной и хозяйственной структурой нашей цивилизации. До сих пор наука права, по отзыву лучших его знатоков, не больше, чем филология и схоластика понятий. Национальная экономия вообще не наука. Я здесь не говорю уж о политических, хозяйственных и организационных задачах нашей будущей. Удобное мирозерцание, система, которая обязывает лишь к тому, чтобы быть убежденным, — вот чего ищут наши созерцатели и идеалисты, а это есть увертка при боязни фактов. И сидят себе эти идеалисты со своими дебатами по углам жизни, для чего они и рождены. Пусть они там и остаются!

Наконец, что же следует из факта, что „человечество“ за тысячелетия не движется вперед? Человечество, для которого мы составляем программу, не предполагая того, что действительность тотчас ее поправит, тогда как фаустовская культура развивается в течение нескольких столетий, исторический облик которых мы наглядно созерцаем? Пуританская гордость Англии говорит: все предопределено — значит я должна победить. Другие говорят: все предопределено, прозаично и недостаточно идеально — значит бесцельно начинать. Но

с задачами, которые остались для нас, людей Запада, дело обстоит так: для людей действительных фактов они неисчислимы; конечно, это будет безнадёжная перспектива для романтиков и идеологов, которые не могут мыслить мира без того, чтобы не сочинять стихов, рисовать картины, ковать этические системы или жить с торжественным мирозерцанием.

И тут я выскажусь откровенно, — пусть поднимает крик, кто хочет, — слишком переоценивают искусство и абстрактное мышление в их историческом значении. Сколь бы существенными они ни были в свои великие эпохи, всегда существовало нечто более существенное. В истории искусств не следует переоценивать значения Грюнвальда и Моцарта. В *действительной* истории века Карла V или Людовика XV вовсе не думают о них. Может оказаться так, что большое историческое событие вызывает художника. Обратного никогда не случилось. А то, что происходит сейчас, не входит даже в сферу истории искусств. Что же касается профессиональной философии наших дней, то все ее школы не имеют значения ни для жизни, ни для души; ни образованные люди, ни ученые других научных областей не принимают серьезно во внимание взглядов такой философии. Эти взгляды годны служить только для цели писания о них диссертаций, которые, в свою очередь, будут цитироваться в других диссертациях, а их опять-таки никто не будет читать, кроме бу-

дущих доцентов философии. Вопрос о цели науки поставил Ницше. Наступит время для вопроса о значении искусства. Эпохи без истинного искусства и философии остаются все же могучими эпохами; римляне научили нас этому. Но этим определяется во всяком случае смысл бытия для человека, постоянно живущего вчерашнем днем.

Для нас это не так. Мне говорили, что не стоит жить без искусства; я в свою очередь спрашиваю: для кого не стоит? Я бы не хотел жить среди римлян Мария и Цезаря в качестве скульптора, нравственного учителя или драматурга или в качестве члена какой-нибудь Георгиевской секты, которая, позади форума, презирала римскую политику стоя на чисто внешней литературной точке зрения. Никто не может иметь более близкого отношения к *великому* искусству нашего прошлого, чем я, — ведь у современности такого искусства нет; я бы не хотел жить без Гёте, без Шекспира, без старой архитектуры; любое произведение благородного искусства Возрождения захватывает меня *именно* потому, что я вижу ее границы. Бах и Моцарт для меня — выше всего; но из этого *вовсе* не следует необходимости считать тысячи пишущих, рисующих, философствующих обитателей наших больших городов за истинных художников и мыслителей. В Германии рисуют, пишут и „набрасывают эскизы“ больше, чем во всех странах мира, взятых вместе. Что это, культура или отсутствие чувства действительности? Что мы, слишком богаты созидательной силой или слиш-

ком бедны практической энергией? И соответствует ли результат, хотя бы отдаленно, затратам самонадеянной шумихи? Экспрессионизм, люди вчерашнего дня — не оставили после себя ни выдающегося имени, ни заслуги. Меня, конечно, тысячи раз опровергали, когда я усомнился в серьезности этого движения. Художники, музыканты и поэты в речах и брошюрах ясно доказывали мне, что искусство мощно идет вперед. Но из этого потока слов не следует ли обратное? Такие вещи доказываются действиями, не доводами. Пусть меня опровергнут, поставив что-нибудь одинаковое по достоинству рядом с Тристаном, Бетховенской сонатой opus 106, Королем Лиром или портретом Марэса. Но теперь больше нет достижений, а только направления. И людей объединяет даже хотение, с которым не связано никакое умение. Здесь налицо опасность, что все эти бескостные, женственные, ненужные „движения“ существуют не из необходимости, но из необходимости переживаемого времени. Я называю это *миросозерцанием, свойственным ремеслу искусства*. Строение, рисование и стихосложение, как ремесло искусства, политика, как ремесло искусства, даже миросозерцание, как ремесло искусства, — все это зловоние возносится к небу из различных кружков и союзов, кафе и зал для докладов, от выставок, изданий и газет. И это явление не довольствуется малым — оно хочет царить; оно называется немецким и претендует на господство в будущем.

Именно здесь я нахожу задачи, но не людей — людей, которые были бы достаточно к ним подготовлены. Немецкий роман принадлежит к задачам века; до сих пор мы имеем только Гёте. Однако роман требует *личностей*, сильных по энергии и взгляду на мир, выросших в больших ситуациях, великих также по достоинству своих воззрений и своего такта. Мы до сих пор не имеем немецкой прозы, как существует проза английская и французская. То, чем мы доньше обладаем, есть стиль отдельных писателей, который от весьма плохой посредственности доходит до исключительно личного мастерства. Роман мог бы создать писателей, а сейчас люди практики, индустрии, высшего офицерства, организаторы — пишут лучше, основательнее, глубже, чем литераторы десятого ранга, которые из стиля создали спорт. В стране Тилия Эйленшпигеля я не нахожу фарса большого стиля, всемирно-исторических высот и глубин, осмысленного, трагического, легкого и изящного; это почти единственная форма, в которой теперь одновременно можно быть философом и стихотворцем, не будучи поддельным. Мне ныне не достает того, чего некогда не доставало Ницше — немецкой музыки в стиле Кармен, полной породы и духа, искрящейся мелодией, темпом, огнем, — той музыки, предками которой не постыдились бы признать себя Моцарт, Иоганн Штраус, Брукнер и *молодой* Шуман. Но оркестровые акробаты сегодняшнего дня бессильны. Начиная со смерти Вагнера, не выделился ни

один большой композитор — создатель мелодии. Раньше, пока существовало живое искусство, была известная согласованность, такт жизни, который проходил через художников, художественные произведения и публику, и принуждал каждого творить так и видеть так, как он должен был и чувствовал себя обязанным; таким образом, крупные и незначительные художники отличались не по строгости формы, но только по глубине концепций, — на место этого чутья появились „наброски“; нет ничего более презренного. Что более не жизненно, то начинают проектировать. Пытаются набросать планы личной культуры с теософией и культом учителя, личной религии с изданиями Будды на роскошной бумаге, планы государства из эроса. Хотели бы после революции „набрасывать планы“ для хозяйства, торговли и индустрии.

Эти идеалы следует разбить вдребезги; чем больше при этом будет звона, тем лучше. Суровость, римская суровость — вот что начинается теперь в мире. Для чего-либо другого скоро не будет больше места. Пусть будет искусство, — но из бетона и стали; пусть будет поэзия, но мужей с железными нервами и холодным, пронизательным взором; пусть будет религия, но тогда возьми свой молитвенник, не Конфуция на веленовой бумаге, и иди в церковь; пусть ведется политика, но политика государственных мужей, а не исправителей рода человеческого. На все остальное нечего обращать внимания. И никогда не следует забывать,

что лежит позади нас и впереди нас, людей этого тысячелетия. До Гёте мы, немцы, больше никогда не дойдем, но можем дойти до Цезаря.



40
1970

Кооперативное Т-во „ЗАДРУГА“
МОСКВА

Правление и Склад:
Крестовоздвиженский 9.

Книжный Магазин
Москва 20